

Николай Чуковский

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ



ФТМ

УДК 82/821

ББК 84(2)

**Оригинал-макет книги для PoD-издания
подготовлен ООО «Агентство ФТМ, Лтд.»**

Чуковский, Н. К.

Литературные воспоминания: Сборник / Николай Корнеевич Чуковский. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2022. — 420 с. с илл.

Фотографии Моисея Соломоновича Наппельбаума

ISBN 978-5-521-74864-8

Книга «Литературные воспоминания» Николая Чуковского рассказывает о литературном Петрограде 20—30-х годов XX века, о знаменитом Доме искусств, о создании группы «Серапионовы братья». В книгу вошли литературно-художественные очерки об Александре Блоке, Владимире Маяковском, Максимилиане Волошине, Николае Гумилеве, Андрее Белом, Осипе Мандельштаме, Константине Вагинове, Николае Заболоцком, Юрии Тынянове. Созданные Николаем Чуковским образы-портреты многих представителей литературы тех лет отличается глубиной и точностью, но также рассказывают о времени, в котором они жили и творили, и о людях, которые их окружали.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

© Текст. Н. К. Чуковский,
наследники, 2021

© Фотографии. М. С. Наппельбаум,
наследники, 2021

© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2022

ISBN 978-5-521-74864-8

Я ВИДЕЛ БЛОКА

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911–1912 гг. мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. У выхода папа купил журнальчик «Обозрение театров», памятный для меня тем, что в каждом его номере печаталось чрезвычайно мне нравившееся объявление, на котором был изображен маленький человечек с огромной головой; он прижимал палец ко лбу, и вокруг его просторной лысины были напечатаны слова — «Я знаю все!».

3

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановясь под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно — оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестящем при ярком свете электрических фонарей Невского.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

— Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Вероятно, я и запомнил его только оттого, что папа назвал его пьяным. В нашей непьющей семье мне никогда не прихо-

дилось встречаться с пьяными, и пьяные очень волновали мое воображение.

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты — до того он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он весь обрюзг, лицо его стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но располневшее его тело с трудом умещалось во френче, который он носил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался мне высоким только когда сидел; когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста, — у него было длинное туловище и короткие ноги.

Помню, как он читал «Соловьиный сад» в Доме поэтов — учреждении, существовавшем в Петрограде летом и осенью 1919 года. Этот Дом поэтов помещался на Литейном, в том здании, которое известно старым ленинградцам под названием Дома Мурузи. Дом Мурузи должен был быть хорошо знаком Блоку потому, что в нем продолжительное время жили Мережковский и Гиппиус. Впрочем, в годы революции их там уже не было — они переехали на Сергиевскую, к Таврическому саду. Дом поэтов занимал в доме Мурузи небольшой зал, отделанный в купеческо-мавританском стиле, и еще две-три комнаты, служившие фойе. Бывал я там мало и припоминаю только о том, что именно там, на каком-то вечере, Виктор Шкловский в ответ на поклон поэта Кельсона повернулся к нему спиной и низко поклонился.

Чтение «Соловьиного сада» происходило почему-то днем, — я хорошо помню, что свет падал на окна, и за окном было солнце. Мне было пятнадцать лет, я знал большинство стихотворений Блока наизусть и боготворил его. Ни одно явление искусства никогда не производило на меня такого впечатления, как

Я видел Блока

в те времена стихи Блока; я все человечество делил на два разряда — на людей, знающих и любящих Блока, и на всех остальных. Эти остальные казались мне низшим разрядом.

Я уселся в первом ряду; никакой эстрады не было. Блок сидел прямо передо мной за маленьким столиком. Читал он негромко, хрипловатым голосом, без очень распространенного тогда завывания, с простыми и трогательными интонациями.

Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив...

Чтение длилось недолго. Когда он кончил, я, потрясенный, первым выскочил в фойе. Вслед за мной потянулись и остальные слушатели. Вышел в фойе и Блок.

Я стоял в углу и благоговейно смотрел на него. Он медленно оглядел всех в фойе своими выцветшими голубыми глазами, словно кого-то ища. Заметив меня в моем углу, он остановил взор на мне и пошел прямо на меня сквозь толпу. Я затрепетал. Он подошел ко мне близко, даже ближе, чем обычно подходят к тому, с кем собираются заговорить. Наклонясь ко мне, он шепотом спросил:

— Где здесь уборная?

Вряд ли он знал, кто я такой. Просто он считал, что с таким вопросом удобнее обратиться к мальчику, чем к взрослому.

Чтение Блока слышал я не раз, и всегда оно потрясало меня. Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи» в так называемом Доме искусств (Мойка, 59). Было это несколько позже — в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был купеческий, пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на плафоне. Блок читал хрипловато, глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как

будто с трудом находил слова и перебирал ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Помню в этом же зале и чтение блоковских «Двенадцати» — тоже году в двадцатом. Читал не Блок, а его жена Любовь Дмитриевна, Блок же только присутствовал на эстраде. На этот раз там стоял столик, ничем не покрытый, Любовь Дмитриевна находилась позади столика, а Блок сидел сбоку на стуле, печально опустив голову и обратив к публике свой профиль. Любовь Дмитриевна читала шумно, театрально, с завыванием, то садилась, то вскакивала. На эстраде она казалась громоздкой и даже неуклюжей. Ее обнаженные до плеч полные желтоватые руки металась из стороны в сторону. Блок молчал. Мне тогда казалось, что слушать ее ему было неприятно и стыдно.

6

В те времена Горький был председателем правления Дома искусств, а членами правления были и Блок, и мой отец. Отец мой был, по-видимому, очень деятельным членом правления и потому имел позади библиотеки комнатку для занятий — нечто вроде служебного кабинета. В январе 1921 года мой брат и моя сестра заболели скарлатиной, и меня, чтобы уберечь от заразы, родители переселили в Дом искусств, в этот «папин кабинет». Но уже через несколько дней заболел и я. Не знаю, была ли это скарлатина, но проболел я довольно долго и, главное, долго провалялся, потому что и тогда, когда мне было лучше, меня никуда не пускали, чтобы я не разносил заразы. В то время затевался журнал «Дом искусств», редакция которого состояла из Горького, Блока и моего отца. Им удалось выпустить всего два номера журнала, но собирались они часто и трудов положили много.

Одно заседание редакции состоялось как раз в той комнате за библиотекой Дома искусств, где я, выздоравливая, лежал в кровати. Блок пришел первым и, кажется удивился, увидев

меня. Спросил, будет ли здесь Корней Иванович. Негромкий, словно затрудненный голос его звучал глухо. Я, заранее предупрежденный, сказал ему, что отец просит подождать. Блок сел на кровать у моих ног, опустил голову и не сказал больше ни слова. Так прошло, по крайней мере, минут сорок. Темнело. Я смотрел на него сбоку. От благоговения и робости я не осмеливался заговорить, не осмеливался двинуться. Сгорбленный, с неподвижным большим лицом, печально опущенным, он был похож на огромную птицу. Не знаю, думал ли он или дремал. Отец и Горький очень запоздали, но наконец пришли оба. Отец включил свет, громко заговорил. Блок поднялся и пересел к столу.

Примерно к этому же времени относится посещение Блоком студии Дома искусств и руководимого Н. С. Гумилевым семинара поэзии, в котором я тогда занимался в качестве студиста. Статья Блока «Без божества, без вдохновенья», в которой он выступил против Гумилева, против акмеистов и всей их эстетско-формалистской проповеди, не была еще известна. Но мы, студисты, знали, что отношения между Блоком и Гумилевым неважные. Гумилев на занятиях иногда разговаривал с нами о стихах Блока, и в словах его, сдержанных, сквозила враждебность. В глазах молодежи, вертевшейся вокруг Дома искусств, Блок и Гумилев были соперники, борющиеся за первое место в русской поэзии. Любители поэзии делились на сторонников Блока и на сторонников Гумилева. Конечно, сторонников Блока в широких кругах молодежи было больше, чем сторонников Гумилева. Но в кругах, тяготевших к Дому искусств, преобладали сторонники Гумилева. А уж в семинаре, руководимом Гумилевым, все были его сторонники — кроме меня. Для меня Блок был выше всего на свете.

Блок явился к нам на семинар в сопровождении двух женщин. Помню, одна из них была его тетка Бекетова. Кто была вторая, я забыл, может быть, и не знал. Мы, студисты, человек

двенадцать — пятнадцать, сидели вокруг стола, и перед нами лежали расчерченные таблицы, которыми, согласно учению Гумилева, следовало руководствоваться при писании стихов. Стол, стоявший посреди комнаты, был узкий и длинный, и возле узкого его края спиной к двери сидел Гумилев. Когда вошел Блок со своими спутниками, он повернулся и встал. Блок и его дамы уселись не за стол, а на стульях, стоявших у стены. Гумилев опять занял свое председательское место. Решено было, что студисты прочтут свои стихи.

Читали обе сестры Наппельбаум, Константин Вагинов, Даниил Горфинкель и, вероятно, еще кто-то. Я, к счастью, не читал.

Блок слушал хмуро, с безразличным вниманием. Он не сделал ни одного замечания, ничего не похвалил. Только время от времени просил:

— Еще.



Ему читали еще, а он слушал все так же хмуро. Кое-кому из читавших задавал он вопросы, но вопросы эти к стихам непосредственного отношения не имели. Фредерику Наппельбаум, например, он спросил:

— Что вы больше всего любите?

И она ответила:

— Ветер.

Пробыв у нас около часа, он ушел с обеими дамами. Так как всем было ясно, что стихи ему не понравились, а между тем все ему прочитанное на семинаре признавалось самым лучшим, то, естественно, участники семинара пришли в недоумение. Глаза Николая Степановича, обычно торжественные, поблескивали насмешливо, и было решено, что Блок либо не понимает в стихах, либо просто относится к студистам недоброжелательно.

Потом я видел его только однажды — на посвященном ему вечере в Большом Драматическом театре на Фонтанке. Этот

Я видел Блока

театр, основанный и руководимый Блоком, был впоследствии почему-то назван театром им. Горького. Стояла мокрая, грязная весна. Театр был полон взволнованной толпой. Отец мой прочитал свою статью о Блоке. Потом читал Блок. Я сидел в далекой ложе, и слабый голос его едва до меня доносился через огромный театральный зал. Блок показался мне на этот раз похudevшим и как бы уменьшившимся.

О смерти его я услышал в Псковской губернии, в бывшем гагаринском имении Холомки. Я плакал весь день. Мой приятель и однолeток князь Петя Гагарин, никогда до тех пор не слыхавший о Блоке, спросил меня:

— А что, Блок твой родственник?

Помню, как я в тот день говорил с детской опрометчивостью, что лучше бы уж умер Гумилев, чем Блок.



ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

10

В годы первой мировой войны я видел Маяковского так часто, что память моя не в состоянии отделить одно его посещение от другого. Он постоянно торчал у нас в нашем куоккальском доме. Лето пятнадцатого года он прожил у нас, но и тогда, когда он жил в Куоккале и других дачах, он почти ежедневно обедал у нас, а когда жил в Петербурге, приезжал к нам по воскресеньям со своими друзьями — Василием Каменским, Бенедиктом Лившицем, Хлебниковым и Кульбиным.

Припоминая разговоры тех времен, я понимаю, что его тогдашнее тяготение к жизни в Куоккале было каким-то образом связано с уклонением от воинской повинности. Я уже тогда знал, что уклоняется он от солдатчины не из трусости, а оттого, что ненавидит войну. Маяковский был первый человек, не зараженный воинственным шовинизмом, которого я увидел.

Если не ошибаюсь, впервые они приехали к нам из города втроем — Маяковский, Каменский и Лившиц. Мне тогда было лет одиннадцать. Они потрясли мое воображение и восхитили меня — три красавца, высокие, молодые, громкоголосые, веселые. Больше всех в тот приезд мне понравился Василий Каменский. Он был самый шумный из всех, и, кроме того, он был